

...таким образом, оставив далеко и глубоко внизу февральскую вьюгу, которая лепила мокрым снегом в переднее стекло автомобиля, где с трудом двигались туда и сюда стрелки стеклоочистителя, сгребая мокрый снег, а встречные и попутные машины скользили юзом по окружающему шоссе, мы снова отправились в погоню за вечной весной...

В конце концов, зачем мне эта вечная весна? И существует ли она вообще?

Думаю, что мне внушил идею вечной весны (и вечной славы!) один сумасшедший скульптор, с которым я некогда познакомился в закоулках Монпарнаса, куда меня на несколько недель занесла судьба из советской Москвы.

Он был знаменитостью сезона. В Париже всегда осенний сезон ознаменован появлением какого-нибудь гения, о котором все кричат, а потом забывают.

Я сделался свидетелем недолгой славы Брунсвика. Кажется, его звали именно так, хотя не ручаюсь. Память мне изменяет, и я уже начинаю забывать и путать имена.

Его студия, вернее довольно запущенный сарай в глубине небольшого садика, усеянного разбитыми или недоконченными скульптурами, всегда была переполнена посетителями, главным образом приезжими англичанами, голландцами, американцами, падкими на знакомства с парижскими знаменитостями. Они были самыми лучшими покупателями модной живописи и скульптуры. У Брунсвика (или как его там?) не было отбоя от покупателей и заказчиков. Он сразу же разбогател и стал капризничать: отказываться от заказов, разбивать свои творения.

У него в студии всегда топилась чугунная печурка с коленчатой трубой. На круглой конфорке кипел чайник. Он угощал своих посетителей скупо заваренным чаем и солеными английскими бисквитами. При этом он сварливым голосом произносил отрывистые, малопонятные афоризмы об искусстве ваяния. Он поносил Родена и Бурделя, объяснял упадок современной скульптуры тем, что нет достойных сюжетов, а главное, что нет достойного материала. Его не устраивали ни медь, ни бронза, ни чугун, ни тем более банальный мрамор, ни гранит, ни бетон, ни дерево, ни стекло. Может быть, легированная сталь? — да и то вряд ли. Он всегда был недоволен своими шедеврами и разбивал их на куски молотком или распиливал пилой. Обломки их валялись под ногами среди соломенных деревянных ступей.

Это еще более возвышало его в глазах ценителей. «Фигаро» отвела ему две страницы. На него смотрели с обожанием, как на пророка.

Я был свидетелем, как он разбил на куски мраморную стилизованную чайку, косо положенную на кусок зеленого стекла, изображающего средиземноморскую волну, специально для него отлитую на стекольном заводе.

Словом, он бушевал.

Он был полиглотом и умел говорить, кажется, на всех языках мира, в том числе на русском и польском, — и на всех ужасно плохо, еле понятно. Но мы с ним понимали друг друга. Он почему-то обратил на меня внимание — может быть, потому, что я был выходцем из загадочного для него мира советской Москвы, — и относился ко мне весьма внимательно и даже дружелюбно. Он уже и тогда казался мне стариком. Вечным стариком-гением. Я рассказывал ему о советской России, о нашем искусстве и о своих друзьях — словом, обо всем том, о чем вы прочтете в моем сочинении, которое я в данный момент начал переписывать набело.

Брунsvик был в восхищении от моих рассказов и однажды воскликнул:

— Я вас вполне понял. Вы, ребята, молодцы. Я больше не хочу делать памятники королям, бо-

гачам, героям, вождям и великим гениям. Я хочу ваять малых сих. Вы все — моя тема. Я нашел свою тему! Я предаю всех вас вечности. Клянусь, я это сделаю. Мне только надо найти подходящий материал. Если я его найду... О, если я его только найду... тогда вы увидите, что такое настоящая скульптура. Поверьте, что в один из дней вечной весны в парке Монсо среди розовых и белых цветущих каштанов, среди тюльпанов и роз вы наконец увидите свои изваяния, созданные из неслыханного материала... если я его, конечно, найду...

Он похлопал меня по спине своей могучей старческой рукой, и мы оба рассмеялись...

...образ Брунсвика (или как его там) пропал в провалах моей памяти.

И вот теперь, лет через пятьдесят, мы с женой полулежали в креслах с откинутыми спинками, в коридоре между двух рядов двойных, герметически закупоренных иллюминаторов, напоминавших прописное О, которое можно было истолковать как угодно, но мною они читались как заглавные буквы некоторых имен и фамилий.

Пожалуй, один из иллюминаторов я мог бы прочесть даже как прописное Ю. Ключик. Но мешало отсутствие впереди палочки, без которой Ю уже не Ю, — не ключик, а всего лишь ноль, зеро,

знак пустоты, или в данном случае начало бесконечной колодезной пустоты, в глубине которой ничего невозможно было разглядеть, кроме мутного воздуха, туманно обещавшего вечную весну, где монотонно двигалась темная полоска — тень нашего длинного самолета.

Мы незаметно передвигались в среде, которая еще не может считаться небом, но уже и не земля, а нечто среднее, легкое, почти отвлеченное, где незаметно возникают изображения самого отдаленного прошлого, например футбольная площадка, лишенная травяного покрова, где в клубах пыли центрфорвард подал мяч на край, умело подхваченный крайним левым.

Крайний левый перекинул мяч с одной ноги на другую и ринулся вперед — маленький, коренастый, в серой форменной куртке Ришельевской гимназии, без пояса, нос башмаком, волосы, упавшие на лоб, брюки по колено в пыли, потный, вдохновенный, косо летящий, как яхта на крутом повороте.

С поворота он бьет старым, плохо зашнурованным ботинком. Мяч влетает мимо падающего голкипера в ворота. Ворота — два столба с верхней перекладиной, без сетки.

Продолжая по инерции мчаться вперед, маленький ришельевец победоносно смотрит на зрителей и кричит на всю площадку, хлопая в ладоши самому себе:

— Браво, я!

(Вроде Пушкина, закончившего «Бориса Годунова». Ай да Пушкин, ай да сукин сын!)

Как сказали бы теперь, «был забит завершающий победный гол» этого рядового гимназического матча, об окончании которого возвестил рефери сигналом принятого в то время трехзвучного судейского свистка.

Впрочем, нельзя сказать, что это был ничем не замечательный матч: в нем принимал участие тощий, золотушного вида рихельевец в пенсне на маленьком носике, будущая мировая знаменитость, центрфорвард сборной команды России, как сказали бы теперь — «нападающий века», «суперстар» мирового футбола, Богемский. Но тогда он был лишь старшекласником и, надо сказать, прескверным учеником с порочной улыбкой на малокровном лице.

Его имя до сих пор легенда футбола.

В ту пору я тоже был гимназистом, посещал спортивную площадку и, подобно множеству моих сверстников, сочинял стишки и даже печатал их в местных газетах, разумеется бесплатно.

— Кто забил гол? — спросил я.

И тогда второй раз в жизни услышал имя и фамилию ключика. В первый раз я его, впрочем, не услышал, а увидел под стихами, присланными по

почте для альманаха в пользу раненых, который я составлял по поручению редакции одной из газет. Можете себе представить, какую кучу стихотворного хлама обрушили на меня все городские графоманы: до сих пор помню одно стихотворение на военно-патриотическую тему, выведенное писарским почерком с нажимами и росчерками; в нем содержалось следующее бессмертное двустишие:

«Уланский конь скакает в поле по окровавленным телам».

Альманах не вышел ввиду затруднений военного времени, которые уже начали ощущаться.

Стихи же, привлёкшие мое внимание, были написаны на канцелярской бумаге, уже вполне устоявшимся почерком: круглые крупные буквы с отчетливыми связками. Они были подписаны полным именем и фамилией, уже и тогда ничем не отличаясь от тех факсимиле, которые мы привыкли теперь видеть под портретом на его посмертных книгах.

Тогда я никак не мог предположить, что маленький серый ришельевец, забивший левой ногой такой прекрасный гол, и автор понравившихся мне стихов — одно и то же лицо.

Мы учились в разных гимназиях. Все гимназисты нашего города за исключением ришельевцев носили форму черного цвета; ришельевцы — серого. Среди нас они слыли аристократами. Хотя их гимназия — формально ничем не отличалась

от других казенных гимназий и называлась Одесская первая гимназия, все же она была некогда Ришельевским лицеем и славилась тем, что в ее стенах побывали как почетные гости Пушкин, а потом и Гоголь.

Я был в черной куртке, он — в серой.

Я подошел к нему, подбрасывая на тамбурине резиновый мячик. По моим вискам струился пот. Я еще не остыл после проигранной партии.

Я назвал себя. Он назвал себя. Так состоялось наше формальное знакомство. Мы оба были приятно удивлены. Мне было семнадцать, ему пятнадцать. Мне нравились его стихи, хотя они были написаны по моде того времени немножко под Северянина. Теперь одному из нас восемьдесят, а другого вообще уже нет на свете. Он превратился в легенду. Но часть его души навсегда соединилась с моей: нам было суждено стать самыми близкими друзьями — ближе, чем братья, — и долго прожить рядом, развиваясь и мужая в магнитном поле революции, приближение которой тогда еще даже не предчувствовали, хотя она уже стояла у наших дверей.

Только что я прочел в черновых записях Достоевского: «Что такое время? Время не существует, время есть цифры, время есть отношения бытия к небытию»...